
Михаил Тупеев

ПОЧВЕННОЧЕСТВО И ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

О почвенничестве преимущественно говорят как о системе общественно-политических взглядов Ф.М. Достоевского, в то время как полифония рассматривается как принцип построения его романного мира. Обычно эти два понятия не пересекаются в отечественном литературоведении — в лучшем случае говорится о художественном воплощении некоторых почвеннических идей на страницах романов писателя. А нам представляется продуктивным посмотреть на почвенничество Ф.М. Достоевского и на принцип полифонии в его романах не как на обособленные явления, а как на звенья одной цепи.

Проясним исходные положения.

Итак, почвенничество — это общественно-политическое учение, у истоков которого стояли братья Достоевские, Аполлон Григорьев и Н.Н. Страхов. Оно знаменательно и ценно тем, что его представители умели творчески переосмысливать и синтетически усваивать идеи как славянофилов, так и западников. Вместе с тем, почвенники высказали ряд абсолютно оригинальных суждений, отсутствующих в других программах.

Но самое главное в том, что почвенничество характеризуется не просто способностью слушать разные голоса эпохи, но и **слышать** представителей враждующих теоретических лагерей. Эта способность к синтезу, примирению, как и элементарное умение воспринять и изучить полярные точки зрения, являются в условиях России ценнейшим и, к сожалению, относительно редким приме-

ром, в том смысле, что такую позицию заняли тогда действительно талантливейшие авторы и мыслители своего времени (Аполлон Григорьев и Федор Достоевский). Для современного этапа исторического развития России опыт почвенничества как способа мышления просто неоценим.

Полифонизм, по определению М.М. Бахтина, — это художественный принцип построения романов Достоевского, который позволяет вывести голоса персонажей не через оценочную призму автора, а в первоначальной непредсказуемости, диалектичности и сложности. И здесь мы снова видим ту же способность Достоевского-романиста не просто слушать, а **слышать** живые голоса людей. Не случайно голоса персонажей Достоевского звучат сугубо индивидуально, как верно заметил Д. Мережковский — читатель может буквально слышать нюансы тембра голоса и манеры речи каждого персонажа.

Здесь сделаем необходимое лирическое отступление с тем, чтобы сказать, что нам хорошо известно расхожее мнение о стилистической близости речи автора и персонажей в романах Достоевского, ставшее общим местом. Американский исследователь Р. Андерсон указал на Джона Джоунса как на автора этого наблюдения, хотя сейчас уже сложно сказать, кем впервые было замечено, что все герои у Достоевского говорят одинаково¹. Подобную интерпретацию легко развенчать. Да, действительно, иногда персонажи Достоевского говорят так же, как их создатель, но, вместе с тем, гораздо чаще манера выражаться того или иного персонажа настолько индивидуальна и узнаваема, что у читателя невольно возникают слуховые ассоциации — вершиной мастерства писателя в этом плане является, по нашему мнению, роман «Бесы». Д.С. Мережковский, таким образом, высказал мнение, абсолютно противоположное общепринятому представлению: «У Достоевского нельзя не узнать тотчас, с первых же слов, не по содержанию речи, а по самому звуку голоса, говорит ли Фёдор Павлович Карамазов или старец Зосима, Раскольников или Свидригайлов, князь Мышкин или Рогожин, Ставрогин или Кириллов...»².

Способность доводить любую, и даже вызывающую отвращение у самого автора, теоретическую систему или смысложизненную концепцию до логической завершенности и отточенности, до эмоционального апогея — и есть художественное воспроизведение мировоззренческого этико-религиозного принципа толерантности.

Этот постулат берет начало на страницах Библии, где в монументальной теогонии книги Бытия мы видим Бога, дарующего человеку право выбора — величайшую привилегию и вместе с тем величайшую ответственность. Недаром Великий инквизитор буквально взбешен тем фактом, что дар свободы все-таки уже дан человечеству, и каждый может пользоваться этим даром по своему усмотрению. Задача Великого инквизитора, как и всех антихристианских сил, — отвлечь человека от права выбора, творческих поисков истины и предложить ему безальтернативный вариант.

Есть еще один основополагающий момент, существенно влияющий на наше понимание термина «полифония Достоевского». Дело в том, что и по сей день существует два толкования вышеуказанного термина, предложенного М.М. Бахтиным. Расхождения возникают, в основном, из-за разных подходов к пониманию роли автора в полифоническом романе. Одни специалисты считают, что полифония означает равную авторитетность голосов всех персонажей в романах, а роль автора при этом сводится к композиционному выстраиванию голосов в романном пространстве. Другие утверждают, что Достоевский свою точку зрения проводил вполне определенно, и его оценка событий угадывается в ходе повествования. Мы, конечно же, склоняемся ко второму варианту. Через сюжетные катастрофы Достоевский недвусмысленно опровергал и казуистику Раскольникова, и богоборческую теорию Ивана Карамазова, которую никто из персонажей не превозмог в открытой полемике.

На наш взгляд, самого М. Бахтина вряд ли можно упрекнуть в том, что он дал повод для разночтений в понимании термина «полифония». Он высказался по этому пункту предельно внятно — разумеется, в пределах, допустимых в советской России, где царила враждебная духу Достоевского идеология. В числе прочего, Бахтин писал: «Достоевский умел именно *изобразить чужую идею*, сохраняя всю ее полноту как идеи, но в то же время сохраняя и дистанцию, не утверждая и не сливая ее с собственной выраженной идеологией...»³. Другими словами, по мысли Бахтина, Достоевский в своих романах, придавая максимальную авторитетность как положительным, так и отрицательным голосам, в то же время вполне определенно обозначал *свое собственное* отношение к развитию событий, ситуациям, конфликтам.

Принцип полифонии многократно использовался Достоевским в его публицистических выступлениях. Часто он прибегал к при-

ему выстраивания *предположительного* диалога между реально существующими историческими лицами. Зная линию поведения и манеру выражаться того или иного политика или литератора, Достоевский домысливал за них реплики, их *возможные* ответы оппонентам на провоцирующие вопросы, а также некоторые *возможные* внутренние монологи, приоткрывающие саму суть той или иной личности. Нетрудно заметить, что Достоевский действует в публицистике совершенно как художник, как писатель-романист, открывающий читателю глубины психологии субъектов.

М.М. Бахтин в книге «Проблемы поэтики Достоевского» рассматривает типичное для писателя построение публицистической статьи, когда тема при помощи так называемого *воображаемого диалога* получает объемное звучание. В качестве примера взят отрывок из статьи Ф.М. Достоевского «Среда», где рассматривается устройство суда присяжных заседателей. Оркестровку своей темы писатель осуществляет при помощи голосов и полуголосов людей, которые то иллюстрируют, а то и нагло перебивают мысль автора:

«— Ну, вы однако же, — слышится мне чей-то язвительный голос, — вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят, и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уж прямо обвинили их в социальных тенденциях.

Конечно, конечно, где же им до “среды”, т.е. сплошь-то всем, — задумываюсь я, — но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто проникающее...»⁴ (21; 16).

Использовал ли Достоевский в своих статьях принцип полифонии, чтобы представить почвеннические идеи? Несомненно. В статье 1862 года «Два лагеря теоретиков» он убедительно проводит свою точку зрения, обрамляя ее изложением славянофильских и западных доктрин. Весьма показательным, что, указав на существенные недостатки и узость подходов обеих партий, Достоевский выделил и сильные стороны двух учений:

«... Так вот два лагеря теоретиков, из которых один отвергает в принципе народность и, следовательно, наше чисто народное начало — земство. Другой понимает значение нашего земства по-своему и, во имя своей теории, не отдает справедливости нашему образованному обществу... Те и другие, как видно, судят о жизни по теории и признают в ней и понимают только то, что

не противоречит их исходной точке. А между тем часть истины есть в том и другом взгляде... и без этих частей невозможно обойтись при решении вопроса, что нужно нам, куда идти и что делать?» (20; 13–14).

Таким образом, и почвенничество, и полифонизм Достоевского служат одной цели — подготовить человечество к выходу на более высокий уровень сознания. Соединив элементы литературы, мифологии и религии, Достоевский стал, по определению Вячеслава Иванова, величайшим предвестником нового «всемирного» искусства, пафосом которого станет преодоление «яда» индивидуализма и таинство возвращения человека к единству с народом, а равно с Богом и Вселенной. Вячеслав Иванов называет Достоевского завершителем истории нового европейского романа и говорит о предвосхищении в его творчестве иного цикла литературного развития. Мы полностью согласны с утверждением Иванова, но вместе с тем еще раз особо подчеркнем высокую диалектичность творческой манеры Ф.М. Достоевского, проявляющуюся как в публицистике, так и в художественных произведениях. В этом его завещание грядущей России. И сегодня, когда мы знакомы с романским опровержением казуистики Раскольникова, с диалогом Шатова и Ставрогина, с легендой о Великом инквизиторе, мы просто не имеем права абсолютизировать какие бы то ни было характеристики любого явления, особенно если речь идет о жизни целого народа. Негативный пример такой абсолютизации мы встретили в статье Татьяны Горичевой «Достоевский — русская феноменология духа», опубликованной в альманахе «Достоевский и мировая культура» № 5 за 1995 год. В качестве абсолютной категории, которой поверяются все факты и события, автор выдвигает пресловутую *непроявленность* русского народа: «Русская “феноменология духа” должна строиться по законам, противоположным гегелевским, — заявляет Горичева. — У немецкого мыслителя всякое достижение в духовной сфере должно быть связано с проявлением. <...> У русского глубоко засело в сознании, что проявление — это нарушение чего-то. Проявлять себя значит навязываться, быть неделикатным. Так и остается Россия страной великих, но не проявленных и поныне возможностей. Гегель и многие другие думали, что проявление рождается от избытка основы. На самом же деле проявление есть следствие радикальной бедности. Проявляют себя агрессия, страх, бесстыдство. Насилие —

это проявление вдвойне»⁵.

Т. Горичева возводит в абсолют лишь одну из характеристик русского народа, и, соответственно, гипертрофирует ее и во Христе: «Именно в творчестве Достоевского сложился тот архетип, который стал для русской литературы классическим: поклонение Христу униженному, кроткому, бессловесному».

Такая трактовка представляется нам однобокой. Следуя логике Горичевой, можно прийти к выводу, что русский человек просто органически не способен поклоняться, например, Христу, изгоняющему торговцев из храма или укрощающему бурю на море.

Антипатия к Гегелю распространена в России, в этом нет ничего удивительного, но в статье «Достоевский — русская феноменология духа» критика учения немецкого философа служит для оправдания убогости.

На наш взгляд, тихость и непроявленность — это не краеугольный камень, на котором строится духовность. Русская история и русская литература гораздо сложнее, и они не сводимы ни к каким простым знаменателям.

«Русский народ глубоко чтит святых страстотерпцев Бориса и Глеба именно потому, что они не проявляли себя, не сопротивлялись насилию, не были театрально героичными, — утверждает Горичева. — И русская литература продолжает эту религиозную традицию. Христос в ней “лен курящийся не угасит, трости надломленной не переломит”»⁶. А как же быть со святым Александром Невским, он что же, был «театрально героичен»? И потому допустим, но не типичен для религиозной традиции? И разве не было просто примеров героизма в русской истории, без театральности? Разве забыт Георгий Победоносец, столь чтимый на Руси? А Сергей Радонежский, благословляющий войско на брань, неужели ошибался?

По нашему глубокому убеждению, возведение непроявленности в абсолют, гиперболизация этого качества скорее ближе к буддизму, нежели к христианству. «В русском, православном Христе, — рассуждает Горичева, — нет ничего от магического поработителя, или от схоластически-аристотелевой “причины”. Он не магичен настолько, что порой к нему приложимы категории “философии исчезновения”. Мы увидим, что у Достоевского Христос не дает ответа на упреки Великого инквизитора, Он просто целует его и исчезает»⁷. Эстетика угасания и «философия

исчезновения» — это буддийская традиция, и не надо смешивать ее с христианством. Конечно, речь идет не о подмене онтологической сущности христианства в статье Горичевой, а лишь о некоторых элементах дзен-буддизма, допущенных в ее рассуждениях. Кротость, долготерпение и смирение — категории совсем иного порядка, а не проявленность — вовсе не русская добродетель.

Бесстрастность и бесчувственность никогда не были отличительными чертами ни Христа, ни героев Достоевского. Что общего между вечно улыбающимся Буддой и уязвленным в самое сердце Алешей, восклицающим: «Расстрелять!», или князем Мышкиным, сидящим у трупа Настасьи Филипповны? И какая «философия исчезновения» приложима к Иисусу, скорбящему об Иерусалиме или обличающему фарисеев? Неужели в четырех Евангелиях Он никак не проявляет Себя?

Во Христе пребывала высшая, совершенная мудрость, и, когда нужно, Он был громогласным, заметным, собирал многотысячные толпы внимающих, а иногда, опять-таки, когда нужно, Он уклонялся от людской славы, бесплодных споров и пустых словопрений. «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби», — учение Христа глубоко диалектично, да и вся библейская традиция учит подобной разумной гибкости: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (Екклесиаст 3:1–8). Не имеет смысла выделять особо какой-либо компонент из этого перечня антитез, весь список нужно воспринимать полностью, без купюр, в совокупности.

Привычка возводить что-либо в абсолют, конечно, по сути своей, очень русская. Она мешала и славянофилам, и западникам услышать друг друга. Славянофильство и западничество — крайние учения, которые абсолютизировали и идеализировали какие-то стороны русской жизни и не желали увидеть полной картины. Собственно, пафос почвенничества как раз и заключался в том, чтобы научить разные полюса русского общества слышать друг друга. Как мы

можем наблюдать, в современной России вняли еще не всем урокам Достоевского. В согласовании полярных точек зрения — великая полифония Достоевского, он стремился к достижению этого идеала не только в своем художественном творчестве, но и в общественно-политической жизни. А нам еще предстоит учиться и учиться.

Концепция *непроявленности* напоминает ошибочную точку зрения профессора Принстонского университета Джеймса Биллингтона, который в известной книге «Икона и топор. Опыт истолкования русской культуры»⁸, впервые вышедшей в Америке в 1966 году, называет древнерусскую культуру не иначе как «культурой великого молчания», игнорируя такие, например, памятники русской письменности, как знаменитую проповедь «О законе и благодати» киевского митрополита Илариона.

Мы не отрицаем русской тихости как одного из проявлений религиозности, и в этом Горичева права. В статье «Достоевский — русская феноменология духа» немало глубоких мыслей (так на наш взгляд, весьма значительна разработка темы *неосуждающей* святости, которая привлекает людей в Зосиме и в Алексее Карамзине). Но мы против того, когда одна характерная черта народа и Христа неоправданно выделяется в ущерб другим качествам. Такой подход не соответствует ни библейским канонам, ни исторической правде. Нельзя забывать или намеренно замалчивать тот факт, что наряду с тихой и умиротворенной рублевской «Троицей» русская художественная традиция знает и такой, например, канон, как «Спас Ярое око». Русский народ издревле почитал образ Строгого Иисуса Христа — Судии мира, перед Которым в конце истории ответит всякая плоть. Дело в том, что в идее ответственности есть огромное утешение, и если перестать помнить о строгости Христа, то сами по себе обесценятся и такие категории, как милость и прощение. Русский народ очень хорошо помнит о суде Христовом — тому есть масса подтверждений в «Записках из Мертвого дома». Чрезмерно концентрируясь на образе безобидного и безмолвного Иисуса, мы загоняем самих себя в нравственный тупик и обрекаем на долгие блуждания по заколдованному кругу. Такая сусальная религиозность нимало не способствует духовному росту.

Молчащий перед Великим инквизитором Христос — это только одно из проявлений Его икономии, ведь Он молчит только тогда, когда все слова уже сказаны, и Ему больше нечего добавить — точно так же Спаситель вел себя перед Пилатом и Иродом Антипой. Здесь

нужно упомянуть и то, что Достоевский-художник, в силу своего отношения к библейскому канону, старался не вкладывать авторский текст в уста Бога в отличие от других писателей и, в частности, Оноре де Бальзака (рассказ «Иисус Христос во Фландрии»). Хотя из этого правила были исключения («Мальчик у Христа на елке»). И, конечно, Ф.М. Достоевский не дает нам повода рассуждать о том, что Христос статично пребывает в тишине и безмолвии, избегая какого бы то ни было суда. Сама разработка темы наказания в романах Достоевского подвигает к более глубокому пониманию Господа, «строго взыскивающего каждый день».

Необходим разумный баланс в сознании общества между Христовой милостью и Его же судом — только на этом пути мы найдем ответы на наболевшие вопросы.

В русской жизни есть и лес, и степь. У нее много ипостасей. Александр Невский и Борис и Глеб не являются взаимоисключающими примерами, а просто олицетворяют собой разные грани русской святости.

Социальное христианство, деятельная любовь — это путь, указанный Ф.М. Достоевским в его последнем романе. Деятельная — значит **проявленная**, проявившая себя в конкретных поступках и делах, сострадательная и беззаветная. Она серьезно отличается от той отстраненной холодности, которую зачастую и принимают за подлинную святость.

Возвратимся, однако, к главной теме нашей статьи — полифонии и почвенничеству. Мы неспроста включили в исследование анализ статьи «Достоевский — русская феноменология духа». Нам представляется, что творческий метод Достоевского и его мировоззренческая установка как раз и позволяют взглянуть на мир во всем его многообразии, не боясь **диалогических противоположностей**, которыми так богата наша жизнь.

По сути дела, почвенничество выступает в качестве объективированного и спроецированного на конкретный исторический момент принципа полифонии. А с другой стороны, полифония — это художественная модель, эквивалентная общественной позиции Ф.М. Достоевского. Понятое таким образом почвенничество, в широком смысле слова, предстает в виде проекции полифонии романов Достоевского на реальную жизнь. Последнее утверждение нуждается в комментарии.

По замыслу Ф.М. Достоевского, почвенничество должно было

аккумулировать в себе все значительные наработки как славянофилов, так и западников. Образно говоря, Достоевский занял позицию дирижера, который добивается согласованного звучания разных инструментов в оркестре. В подтверждение справедливости примера вспомним, что сама мысль о необходимости возвращения образованного сословия на «родную почву» была впервые высказана не братьями Достоевскими, не Ап. Григорьевым и не Н.Н. Страховым, а славянофилом К.С. Аксаковым еще в 1847 году⁹. Через пять лет термин «почва» в схожем смысле употребил Е.Н. Эдельсон в статье «Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической критики»¹⁰. По верному наблюдению А.Л. Осповата, почвенничество — это не «законченная однозначная идеологическая доктрина, а явление, обращенное к будущему»¹¹. Н.Н. Страхов, вспоминая период становления журнала «Время», писал, что Федор Михайлович видел в почвенничестве «совершенно новое, особенное направление, соответствующее той новой жизни, которая видимо начиналась в России, и долженствующее упразднить или превзойти прежние партии западников или славянофилов. **Неопределенность самой мысли не пугала его, потому что он твердо надеялся на ее развитие**»¹².

Достоевский обладал счастливой способностью деликатно подчеркивать сильные стороны оппонентов. С его легкой руки зазвучал разноголосый соборный хор русской интеллектуальной жизни. Как великий режиссер, он страстно желал собрать вокруг своего журнала все остальные идеологические течения, периодически критикуя как правых («Русский вестник», «День»), так и левых («Современник») и вызывая их к конструктивной полемике. Таким образом, Достоевский стремился организовать многоголосье в окружавшей его общественной жизни, совершенно так же, как и в своих полифонических романах.

Теория почвенничества полифонична по сути своей. Достоевский выстраивает свой голос таким образом, что в определенный момент он начинает звучать в унисон с голосами то славянофилов, то западников. Такие созвучия придают убедительность и сбалансированность его концепции, помогают избегать крайностей.

Собственная, авторская мысль, конечно, доминирует над голосами, которым дано высказаться в статьях Достоевского. Однако сила писателя в том, что он не боялся чужих мыслей и умел радоваться, когда замечал что-то родственное в ходе рассуждений даже

не близких ему идейно авторов.

Очень показательны, что Достоевский вывел *общий компонент* в доктринах славянофилов и западников. То есть наглядно продемонстрировал соперникам, что на самом деле они, выражаясь языком музыки, звучат в параллельных тональностях, а значит звуки, составляющие их оригинальные мелодии, будут *одними и теми же*. Достоевский приходит к такому, казалось бы, парадоксальному выводу в статье «Примирительная мечта вне науки» из «Дневника писателя» за 1877 год. Сначала он излагает credo западников: «...В самом деле, чему вы верите? Вы верите (да и я с вами) в общечеловечность, то есть в то, что падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. Что ж, господа, что может быть выше и святее этой веры вашей?» (25; 19).

Далее Достоевский формулирует славянофильскую идею (конечно, так, как сам ее понимает): «Возьму только одних славянофилов: ведь что провозглашали они устами своих передовых деятелей, основателей и представителей своего учения? Они прямо, в ясных и точных выводах, заявляли, что Россия, вкупе со славянством и во главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, и что это слово именно будет заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету. Идеалом славянофилов было единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного великодушного примера, который предназначено дать собою русскому народу во главе свободного всеславянского единения Европе» (25; 20).

Затем Достоевский использует обычный для его полифонических романов прием — он моделирует *возможный* вариант ответа славянофилов в *предполагаемой* полемике с ними: «... Вы скажете мне, что вы вовсе не тому верите, что все это кабинетные умозрения». И тут, как синтез, как проникновение в суть вещей, Достоевский произносит свое слово примирения, которого так не хватало двум противоборствующим полюсам русской мысли: «...

Но дело тут вовсе не в вопросе: кто как верует, а в том, что все у нас, несмотря на всю разногласицу, все же сходятся и сводятся к этой одной окончательной **общей мысли человеческого единения**. Это факт, не подлежащий сомнению и сам в себе удивительный, потому что, на степени такой живой и главнейшей потребности, этого чувства нет еще нигде ни в одном народе. Но если так, то вот и у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определенная национальная идея; именно *национальная*. Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными. Все спасение наше лишь в том, чтоб не спорить заранее о том, как осуществится эта идея и в какой форме, в вашей или в нашей, а в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти прямо к делу...» (25; 20).

В теории почвенничества точки зрения западников и славянофилов были услышаны и учтены. Почвенничество — не простая сумма левых и правых позиций. По ряду моментов почвенниками были высказаны новаторские идеи. Достоевский никогда не отрицал прогрессивного позитивного значения русской литературы, в отличие от славянофилов, постоянно твердивших на страницах «Дня»: «Ложь в просвещении... ложь в вдохновениях искусства... Ложь в литературе...»(20; 9–10). На эти утверждения Достоевский возражает глубоко убедительными словами: «Мы понимаем, что этот голос может быть искренен; но очевидно также, что это голос фанатизма <...> Неужели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Островский, Гоголь — все, чем гордится наша литература, все имена, которые дали нам право на фактическое участие в общеевропейской жизни, все, что свежило русскую жизнь и светило в ней, все это равняется нулю? <...> Неужели общечеловеческие элементы, проводником которых с Запада в русскую жизнь всегда по возможности была литература, мы должны признать источником лжи и фальши, разъединяющей наше общество?...»(20; 9).

Коммерческий провал «Времени» и «Эпохи» многие советские ученые, и в том числе В.Я. Кирпотин, классифицировали как полный крах почвеннической идеологии. Нам представляется, что это далеко не так.

«Короткий, но чрезвычайно напряженный “почвеннический” период деятельности Достоевского закончился поражением, — писал

В.Я Кирпотин. — Горделивые мечты об особой предуготовленной ему гражданской миссии не осуществились. Достоевскому не удалось соединить “западников” и славянофилов в новом и высшем синтезе, не удалось “вернуть” интеллигенцию на родную “почву”, слить ее с народом в “бессловное” единство. Особый, третий путь, как и предсказывал Щедрин, оказался фикцией. Достоевский потерял собственную журнальную трибуну и, несмотря на громкое уже имя, очутился в положении писателя, которому надо “пристраивать” свои произведения»¹³.

Конечно, если понимать под поражением закрытие журналов «Время» и «Эпоха», то Кирпотин прав. Ф.М. Достоевский, действительно, был плохим бизнесменом. Пожалуй, верно и то, что по сравнению с западниками и славянофилами у почвенников не было достаточно большого числа ярких апологетов (Ф.М. Достоевский, Ап. Григорьев и Н.Н. Страхов — самые авторитетные голоса почвенничества). Однако нам представляется значительным уже сам факт наличия такой позиции. Стремление найти «золотую середину» как в вопросах эстетических — между «чистым искусством» и утилитаризмом, так и в вопросах философских и общественно-политических — между славянофильством и западничеством — в высшей степени характерно для почвенников.

Несмотря на экономический провал «Времени» и «Эпохи», нельзя однозначно утверждать, что почвенническая программа потерпела крах. Во-первых, результаты «почвеннической» деятельности простираются далеко за пределы жизни одного поколения. Во-вторых, незатухающий колоссальный интерес к идее «почвы» является живым доказательством того, что редакция «Времени» точно сформулировала проблему и искала ответы в верном направлении.

Величайшее счастье Ф.М. Достоевского в том, что он уже при жизни увидел триумф своего учения — во время прочтения знаменитой Пушкинской речи, когда своего восторга не могли скрыть как западники (И.С. Тургенев), так и славянофилы (И.С. Аксаков). Таким образом, широкое признание идеи «почвы» происходит уже после закрытия «почвеннических» журналов «Время» и «Эпоха» и фактически незадолго до смерти Достоевского. Речь о Пушкине и тот грандиозный успех, который она имела у публики, — это не только своеобразный итог всей жизни и литературной деятельности Ф.М. Достоевского, но и торжество

почвеннической программы в целом. Безусловно, и Аполлон Григорьев, и Н.Н. Страхов внесли каждый свою лепту в общее дело, и в этом успехе Достоевского есть и их заслуга. Однако вместе с тем тот факт, что соотечественники по-настоящему услышали и восприняли пророчества своего гениального современника лишь перед его смертью, свидетельствует: видимо, общество было недостаточно зрелым, чтобы воспринять это в высшей мере разумное и уравновешенное учение. Ведь и западничество, и славянофильство первой половины XIX века во многом грешили крайностями.

Вне всяких сомнений, концепция почвенничества изложена не только в публицистических выступлениях Ф.М. Достоевского, она прослеживается и в его художественном творчестве, начиная с 1850-х годов. Стремление не только услышать, но и понять мотивы, побуждения и малейшие движения душ людей, находящихся «по разные стороны баррикад», — это своего рода программа-максимум и для Достоевского-публициста, и для Достоевского-художника. Только благодаря такой установке могли появиться на свет столь убедительные в своей противоречивой сложности образы Раскольникова, Настасьи Филипповны, Ставрогина, Кириллова, Шатова, Дмитрия Карамазова и многих других не менее сложных персонажей.

В теории почвенничества уместаются и западнические, и славянофильские идеи. Как уместаются святые, убийцы, падшие женщины, революционеры, военные, чиновники, князья, ростовщики, пьяницы, игроки и студенты в романном мире Достоевского. Способность **вмещать** — первый шаг на пути к спасению и преображению, важнейшая и необходимая предпосылка к духовному возрождению народа. И эта способность характерна как для почвеннического учения, так и для романов Ф.М. Достоевского.

Полифонизм Достоевского — это не только художественный принцип гениального писателя, но и, как совершенно точно формулировал М.М. Бахтин, «этико-религиозный постулат», лежащий в основе мировоззрения автора¹⁴. Следовательно, те же принципы, которыми Достоевский руководствовался при создании романов, могут быть использованы и при написании публицистических статей или научных трактатов, и это — путь к «реализму в высшем смысле».

Чтобы исполнять или даже просто слушать полифоническое музыкальное произведение, необходимо избегать чрезмерной со-

средоточенности на отдельно взятой теме, а напротив, требуется особая подготовленность слушателя к восприятию всей звуковой картины. Полифоническое мышление сегодня крайне необходимо, его нужно всячески культивировать и развивать в каждом человеке и в обществе в целом, чтобы люди были способны слышать друг друга и понять, что все мы между собой связаны, и каждый за другого в ответе, и «все за всех виноваты», говоря языком Ф.М. Достоевского. На наш взгляд, достижение такого уровня сознания на современном этапе — задача не только литературы и искусства, но и науки и, в частности, литературоведения.

Примечания

¹ **Андерсон Р.** О визуальной композиции «Преступления и наказания» // Достоевский. Материалы и исследования. — СПб., 1994. — Вып. 11. — С. 93.

² **Мережковский Д.С.** Л. Толстой и Достоевский. — М., 2000. — С. 143.

³ **Бахтин М.М.** Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979. — С. 97.

⁴ Там же. — С. 109.

⁵ **Горичева Т.** Достоевский — русская феноменология духа // Достоевский и мировая культура. — М., 1995. — № 5. — С. 5.

⁶ Там же. — С. 5–6.

⁷ Там же.

⁸ **Биллингтон Джеймс Х.** Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. — М.: Рудомино, 2001.

⁹ Имярек <**Аксаков К.С.**> Три критические статьи // Московский ученый и литературный сборник на 1847 год. — М., 1847. — Отд. критики. — С. 41.

¹⁰ См.: Москвитянин. — 1852. — № 6, отд. 3. — С. 52.

¹¹ **Осват А.Л.** «Заметки о почвенничестве» // Достоевский. Материалы и исследования. — Л., 1980. — Т. 4. — С. 172.

¹² Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. — СПб., 1883. — С. 199.

¹³ **Кирпотин В.Я.** Достоевский в 60-е годы. — М.: Худож. литература, 1966. — С. 538.

¹⁴ **Бахтин М.М.** Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979. — С. 11.